

*Посвящается МЭРИ УЭБСТЕР
И ПЕРРИ МИЛЛЕРУ¹*

¹ Мэри Уэбстер (в девичестве Ривз, ок. 1626—1696) — одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; и то и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер (1905—1963) — американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.

Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?

Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.

Бытие, 30:1—3

Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенен был сим предложением...

*Джонатан Свифт,
Скромное предложение¹*

Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней.

Суфийская притча

¹ В сатирическом памфлете английского писателя Джона-тана Свифта «Скромное предложение касаясь того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.

I

НОЧЬ

Глава 1

Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы — для игр, в которые здесь играли когда-то; баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру — балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала — смутно, послесвечением, — едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах — я видела на фотографиях, — позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали; музыка сохранилась — палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света.

В зале — древний секс и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге, те же руки ли на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной — на стоянках, в телегостиной, где выключ-

чен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти.

Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе; и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках — рядами, на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «С.Ш.А.». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали Тетка Сара и Тетка Элизабет; к кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи.

Но без оружия — даже им не доверяли оружия. Оружие — для караульных, особо избранных Ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, — а нас не выпускали, только на прогулки, дважды в день, парами вокруг футбольного поля; теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их — но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали.

Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда Тетки отворачивались, мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам: повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена — с койки на койку.

Альма. Джанин. Долорес. Мойра. Джун.

II

ПОКУПКИ

Глава 2

Стул, стол, лампа. Наверху, на белом потолке, — рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку.

Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто — оно всегда приоткрывается, не больше, — внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол — узкие половицы, надраенные полиролью. Она сильно пахнет. На полу ковер — овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки: народные промыслы, архаика, сделано женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде?

На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла: цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески? Казенные поставки?

Считай, что ты в армии, сказала Тетка Лидия.

Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон; или бессонница. Я стараюсь

поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений — тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край.

Так вот. За вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже — для не самых высоких гостей; или комната в меблирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение — тем, у кого оно вообще есть.

И однако солнце, стул, цветы; от этого не отмахнешься. Я жива, я живу, я дышу, вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чувствование, как говорила Тетка Лидия, которая обожала «или/или».

Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И, как в монастырях, здесь мало зеркал.

Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука — побережь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное: цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь; пышные рукава. Белые крылышки тоже

обязательны: дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку.

Дверь в комнате — не в моей комнате, я отказываюсь говорить «моей» — не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор, по центру — грязно-розовая ковровая дорожка. Словно тропинка в лесу, словно ковер пред королевой, она указывает мне путь.

Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней, одна рука на перилах — когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом — поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя: стою столбом или преклоняю колена. В конце коридора над парадной дверью — полукруглый витраж: синие и красные цветы.

Там осталось зеркало, в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбоглазое трюмо, и себя в нем — исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильна опасности. Сестру окунули в кровь.

У подножия лестницы — стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики: черный — Ко-

мандора, голубой — Жены Командора, и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик, где он есть, — сегодня солнечно, я видела в окно. А Жена Командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда, тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру.

Я иду по коридору — мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет не полиролью. Тут Рита стоит у стола, над щербатой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы¹, тускло-зеленом, будто халат хирурга из прошлого. Фасон — почти как у меня, платье длинное, скрадывающее, но поверх него фартук с нагрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки напоказ. Она печет хлеб, кидает буханки на последний краткий замес, потом на формование.

Рита видит меня, кивает — не разберешь, то ли

¹ «В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:38—42).

здоровается, то ли просто дает понять, что увидела, — вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает три штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если б она улыбалась. Но хмурится она не на меня: Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает, я заразная, как краснуха или невезение.

Иногда я подслушиваю под дверью — в прежние времена ни за что бы не стала. Недолго — не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре: мол, не хотела бы так позориться.

Тебя никто и не просит, ответила Кора. А вообще, если бы вдруг, — что бы ты сделала?

Уехала бы в Колонии, сказала Рита. У них есть выбор.

С Неженщинами, помереть с голодухи и Бог знает как? спросила Кора. Красный свет: все, приехали.

Они лущили горох; даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки: твердые горошины падали в железную миску. И Рита: ворчание или вздох протеста или согласия.

Да и вообще, они это для нас для всех делают, сказала Кора. Ну, так говорят. Если б я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить — и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься.

Лучше она, чем я, пробормотала Рита, и я открыла дверь. Их лица — у женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала: смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве. В тот день Кора была со мной милее обычного; Рита — угрюмее.

Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из какого-нибудь закоулка дома придет Ко-ра, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе — в домах Командоров кофе по-прежнему настоящий, — и мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол — мой, поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, какое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигналиа: да, уж мы-то еще как понимаем. Обменяем рецептурами и постараемся превзойти друг друга в литаниях физических страданий; мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. *Да уж, я понимаю*, станем говорить мы. Или — чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков: *Я вижу, к чему ты ведешь*, будто сам голос — проводник, что уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит, он и есть проводник.

Как я презирала такие разговоры. Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор. Обмен своего рода.

Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают, они разговаривают, из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они, без сомнения, подслушивают за дверями, и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала, ловила обрывки бесед. *Мертворожденный, ага. Или: Тыкнула ее вязальной иглой, прямо в пузо. Небось ревность поедом ела. Или дразнят: Она средство для унитаза взяла. Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился вусмерть; но ее запросто нашли.*

Или я помогла бы Рите печь хлеб, окунула бы

руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению — к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять прикосновение.

Но даже попроси я, даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами.

Панибратство значит: *ты — мой брат*. Мне Люк сказал. Он говорил, нет такого слова, которое значит: *ты — моя сестра*. Должно быть, панисестринство, говорил он. Из польского. Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом.

Я беру талоны из Ритиной руки. На них изображения того, на что их можно обменять: дюжина яиц, кусок сыра, бурая штука — видимо, стейк. Я сую талоны в нарукавный карман на «молнии», где храню пропуск.

— Скажи им, пускай свежие дадут, яйца-то, — говорит она. — А не как в тот раз. И цыпленка, а не курицу. Скажи им, для кого, они тогда не будут кобениться.

— Хорошо, — говорю я. Не улыбаюсь. Зачем искушать ее дружбой?

Глава 3

Я выхожу черным ходом в сад, громадный и ухоженный: в центре газон, ива, плакучие сирежки; по краям — цветочные бордюры, нарциссы вянут, тюльпаны раскрывают бутоны, разливают цвета.

Красные тюльпаны, у стебля кровавые; будто их срёзали и теперь они там заживают.

Сад — царство Жены Командора. Я часто видела ее из противоударного окна: коленями на подушке, легкая голубая вуаль на широкой панаме, подле — корзинка с садовым секатором и обрывками бечевки — подвязывать цветы. Всерьез копает Хранитель, отряженный к Командору; Жена распоряжается, тычет тростью. У многих Жен такие сады — есть чем командовать, за чем ухаживать, о чем заботиться.

У меня когда-то был сад. Я помню запах перевернутой земли, пухлые луковицы в руках, налитые, сухой шорох семян под пальцами. Так быстрее проходит время. Иногда Жене Командора выносят стул, и она просто сидит у себя в саду. Издали кажется — мирно.

Ее нет, и я размышляю, где же она: не люблю неожиданно сталкиваться с Женой Командора. Может, шьет у себя в покоях, левая нога на пуфике, потому что у Жены артрит.

Или вяжет шарфы для Ангелов на передовой. Сомневаюсь, что Ангелам эти шарфы нужны; кроме того, Жена Командора вяжет слишком изысканные. Ее не увлекает звездно-крестовой узор, который вяжут многие Жены, — это банально. По кромке ее шарфов маршируют елки, или орлы, или оцепенелые гуманоиды, мальчик и девочка, мальчик и девочка. Не для взрослых шарфы — для детей.

Порой я думаю, что шарфы вообще не отсылаются Ангелам, а распускаются, опять растворяются в нитяных клубках, чтобы когда-нибудь из них вновь вязали. Может, это просто Жены так себя занимают, чтоб у них завелся смысл жизни. Но Жена Командо-

ра вяжет, и я ей завидую. Приятно иметь мелкие цели, которых легко достичь.

Почему она завидует мне?

Она со мной не разговаривает — только если без этого никак. Я — живой укор ей; и необходимость.

Впервые мы взглянули друг другу в лицо пять недель назад, когда я получила это назначение. Хранитель с предыдущего подвел меня к парадной двери. В первые дни нам позволялись парадные двери, но впоследствии предписывался черный ход. Еще ничего не устаканилось, слишком мало времени прошло, никто не понимал, каков же наш статус. Вскоре будет либо только парадная дверь, либо только черный ход.

Тетка Лидия говорила, что выступает за парадную дверь. Ваша служба почетна, говорила она.

Хранитель позвонил, но не прошло и тех мгновений, за которые успеваешь расслышать и подойти, — дверь распахнулась внутрь. Наверное, она ждала с той стороны — я думала увидеть Марфу, но за дверью стояла она, в длинном пепельно-голубом халате, не перепутаешь.

Ты, значит, новенькая, сказала она. Не отодвинулась, чтобы меня пропустить, — так и стояла, загораживая проход. Хотела, чтобы я почувствовала: я не войду в дом, пока она не распорядится. Нынче сплошь косы да камни из-за таких мелочей.

Да, сказала я.

Оставь на крыльце. Это она велела Хранителю — он держал мою сумку. Красная виниловая сумка, небольшая. Была еще другая, с зимней накидкой и теплыми платьями, но она прибудет позже.

Хранитель поставил сумку и отдал честь. Я услышала, как его шаги за спиной удаляются по дорожке, щелкнули ворота, и будто надежная рука отпустила меня. На пороге нового дома всегда одиноко.

Она подождала, пока машина заведется и отъедет. Я не смотрела ей в лицо — только туда, куда могла смотреть, опустив голову: голубая талия, плотная, левая рука на костяном набалдашнике трости, крупные бриллианты на безымянном пальце, точеном когда-то и ныне тщательно обточенном, мягко изгибался подпиленный ноготь на конце узловатого пальца. Будто ироническая улыбка на пальце; будто он насмехался над ней.

Вообще-то можешь войти, сказала она. Развернулась и захромала в прихожую. Закрой за собой дверь.

Я затащила красную сумку внутрь — чего она, несомненно, и хотела — и закрыла дверь. Я молчала. Если тебя не спрашивают, учила Тетка Лидия, лучше рта не открывать. Ты представь себя на их месте, говорила она — стискивая, заламывая руки и нервно, с мольбой, улыбаясь. Им ведь нелегко.

Сюда, сказала Жена Командора. Когда я вошла в ее покои, она уже сидела в кресле — левая нога на пуфике, вышитая подушечка, розы в корзине. Ее вязание валялось на полу, утыканное иголками.

Я стояла перед ней, сложив руки. Ну, сказала она. В руке сигарета — Жена Командора сунула ее в рот и зажала губами, прикуривая. От этого губы ее тончали, выпускали крошечные вертикальные морщинки, как в рекламе губной помады. Зажигалка цвета слоновой кости. Сигареты, наверное, с черного рынка, подумала я, — это меня обнадежило. Даже теперь, хотя больше нет настоящих денег, черный

рынок никуда не делся. Черный рынок остается всегда, и всегда остается то, что можно обменять. Эта женщина, значит, способна обойти правила. Но мне-то что обменивать?

Я с вожделием смотрела на сигарету. Для меня сигареты под запретом — а равно алкоголь и кофе.

Значит, со старым как его там не вышло, сказала она.

Да, госпожа, ответила я.

Она вроде как рассмеялась, потом закашлялась. Не повезло ему, сказала она. У тебя это второй, да? Третий, госпожа, сказала я.

Да и тебе не подфартило, сказала она. Опять усмешливое перханье. Можешь сесть. Я это за правило не возьму, но сейчас можешь.

Я села на краешек стула с жесткой спинкой. Я не хотела озираться, не хотела показаться невнимательной; мраморная каминная полка справа, и зеркало над ней, и букет были тогда лишь тенями на грани видимости. Позже мне с лихвой достанет времени их разглядеть.

Лицо Жены Командора теперь очутилось прямо напротив. Кажется, я ее узнала; во всяком случае, она была смутно знакома. Волос почти не видно из-под вуали. До сих пор светлые. Я тогда подумала: наверное, она их красит — краску для волос тоже можно достать на черном рынке, — но теперь я знаю, что нет — настоящая блондинка. Брови выщипаны в тонкие дуги, и на лице навсегда отпечаталось изумление, или ярость, или любознательность, как у напуганного ребенка, но веки под бровями усталые. В отличие от глаз, где ровная злая синева, как июльское небо в солнечный день, синева, которая перед тобою захлопывается. Ее нос когда-то был, что назы-

валось, миленьким, но сейчас для ее лица маловат. Лицо не толстое, но крупное. Вниз от углов рта тянулись две морщины, и подбородок между ними был стиснут, будто кулак.

Я хочу видеть тебя как можно реже, сказала она. Думаю, это взаимно.

Я не ответила, ибо «да» означало бы оскорбление, «нет» — препирательства.

Я знаю, что ты не дура, продолжала она. Затянулась, выдохнула дым. Я читала твое досье. По мне, это просто деловое соглашение. Но если у меня проблемы, я устраиваю проблемы в ответ. Поняла?

Да, госпожа, ответила я.

И не зови меня «госпожа», раздраженно сказала она. Ты же не Марфа.

Я не спросила, как мне полагается ее называть, потому что понимала: она рассчитывает, что мне никогда не представится случая назвать ее как бы то ни было. Разочарование. Я тогда хотела сделать ее старшей сестрой, воплощением матери, чтобы она понимала меня и защищала. На моем предыдущем назначении Жена проводила время главным образом в спальне; Марфы говорили, она пьет. Я хотела, чтобы эта была иной. Хотела думать, что в другое время, в других условиях, в другой жизни она бы мне нравилась. Но я уже видела, что мне она бы не нравилась, а я бы не нравилась ей.

Она затушила полувывученную сигарету в маленькой резной пепельнице на тумбочке. Затушила энергично: тычок и поворот, а не десяток благовоспитанных постукиваний, как у многих Жен.

Что касается моего мужа, сказала она, он и есть мой муж. Я хочу, чтобы это было кристально ясно. Пока смерть не разлучит нас. Все.

Да, госпожа, повторила я, забыв. Раньше у девочек были такие куклы — они разговаривали, если потянуть шнурок на спине; по-моему, я так и говорила — монотонно, кукольно. Должно быть, ей хотелось залепить мне пощечину. Им можно бить нас, существует библейский прецедент¹. Только не орудиями². Лишь руками.

Вот за это, помимо прочего, мы и боролись, сказала Жена Командора и вдруг отвела взгляд, посмотрела на узловатые, усыпанные бриллиантами руки, и я поняла, где видела ее прежде.

Впервые — по телевизору, мне было лет восемь-девять. Когда мама отсыпалась в воскресенье, а я вставала рано и шла к телевизору в мамином кабинете, перещелкивала каналы, искала мультики. Порой, ничего не найдя, я смотрела «Евангельский час для маленьких душ»: там рассказывали библейские истории для детей и пели гимны. Одну женщину звали Яснорада. Солирующее сопрано. Пепельная блондинка, изящная, курносая, огромные синие глаза, во время гимнов она их заводила к потолку. Умела плакать и улыбаться разом, одна-другая слеза элегантно катились из глаз, будто по команде, а голос, трепетный и невесомый, легко взмывал к высоким нотам. Это потом она занялась другими вещами.

Женщина передо мной — Яснорада. Или когда-то ею была. Так что дело обстоит хуже, чем я думала.

¹ «Авраам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее» (Быт. 16:6).

² «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан» (Исх. 21:21).

Глава 4

Я иду по гравию, который делит пополам газон на задах, аккуратно, как прямой пробор. Ночью лил дождь; трава по сторонам мокрая, в воздухе сырость. Тут и там черви, улики плодородия — пойманы солнцем, полумертвые, гибкие и розовые, точно губы.

Я открываю белую калитку в штакетнике и иду мимо центрального газона к воротам. На дорожке один из прикомандированных к нашему дому Хранителей моет машину. Очевидно, это значит, что Командор дома, у себя, на квартире позади столовой и дальше, где он, похоже, в основном и проводит время.

Машина очень дорогая, «буря»; лучше «колесницы», гораздо лучше приземистого практичного «бегемота»¹. Разумеется, черная — цвета престижа или погребения, длинная, плавная. Водитель нежно оглаживает ее замшей. Хоть это не изменилось — как мужчины ласкают хорошие машины.

Он в форме Хранителя, но фуражка лихо заломлена, рукава закатаны по локоть: руки загорелые, размеченные пунктирами темной поросли. В углу рта торчит сигарета — значит, ему тоже есть что обменять на черном рынке.

Я знаю, как этого человека зовут: *Ник*. Я знаю,

¹ «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7) и т.д. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2:11) и т.д. «Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном» (3 Езд. 6:49).

потому что слышала, как о нем болтали Рита с Корой, а однажды с ним заговорил Командор: Ник, машина мне не понадобится.

Живет он тут же, при доме, над гаражом. Статус низкий: ему не выделили женщины, даже одной. Он не котируется: какой-то дефект, недостаток связей. Но ведет себя так, будто не в курсе или ему плевать. Слишком легкомыслен, недостаточно подобострастен. Может, глуп, но что-то я сомневаюсь. Пахнет жареным, говорили раньше; или: чую запах паленого. Непригодность как аромат. Я невольно представляю, как он пахнет. Не жареным и не паленым: загорелая кожа, влажная на солнце, подернутая дымом. Я вздыхаю, выдыхаю.

Он смотрит на меня, видит, что я смотрю. У него французское лицо, узкое, капризное, сплошь углы и плоскости, складки вокруг рта, где он улыбается. Он в последний раз затягивается, роняет сигарету на дорожку, давит каблуком. Насвистывает. Затем подмигивает.

Я опускаю голову, отворачиваюсь — белые крылышки прячут мое лицо — и шагаю дальше. Он рискнул — но для чего? А если бы я настучала?

Может, это он просто из любезности. Может, увидел мое лицо и решил, что я думаю не о том. Вообще-то я хотела сигарету.

Может, это была проверка — посмотреть, что я сделаю.

Может, он Око¹.

Я открываю ворота и затворяю за собой, глядя в

¹ «Ибо очи Господа обзирают всю землю» (2 Пар. 16:9). «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притчи 15:3).

землю, не назад. Тротуар — из красного кирпича. На этом пейзаже я и сосредоточиваюсь — поле прямоугольников, еле волнистое там, где земля вздыбилась после десятилетий зимних морозов. Цвет кирпичей древен, но свеж и ясен. Тротуары ныне чистят гораздо лучше, чем прежде.

Я останавливаюсь на углу и жду. Я раньше не умела ждать. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет, говорила Тетка Лидия. Она заставила нас это вызубрить. Еще она говорила: не все из вас дойдут до конца. Некоторые падут на сухую землю или в терние. Некоторые не имеют корня¹. У нее была родинка на подбородке, эта родинка скакала, когда Тетка Лидия открывала рот. Говорила: считайте, что вы семена, — и голос ее заговорщицки ластился, как у женщин, что преподавали детям балет, они еще говорили: а теперь поднимите руки; вообразим, что мы деревья.

Я стою на углу, воображая, что я дерево.

Силуэт, красный с белыми крылышками вокруг лица, такой же, как мой силуэт, неопределимая женщина в красном, с корзинкой, шагает ко мне по кирпичному тротуару. Подходит, и мы глядим друг дру-

¹ «Вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк. 4:3 — 8).

гу в лицо, в белые тканые тоннели, что обрамляют нас. Да, это она.

— Благословен плод¹, — говорит она. Так у нас принято здороваться.

— Да отверзнет Господь, — говорю я. Так у нас принято отвечать. Мы вместе идем мимо больших домов к центру. Нам разрешается туда ходить только парами. Якобы ради нашей безопасности, хотя это абсурд: мы и так прекрасно защищены. Правда же такова: она шпионит за мной, а я за ней. Если одна ускользнет из сетей из-за того, что случится в одну из наших ежедневных прогулок, расплачиваться будет другая.

Эта женщина — моя спутница последние две недели. Не знаю, что случилось с предыдущей. В один прекрасный день она просто не появилась, а на ее месте возникла эта. О таких вещах не спрашиваешь, поскольку возможного ответа обычно не хочешь знать. Да и не будет никакого ответа.

Она чуть пухлее меня. Кареглазая. Ее зовут Гленова, и больше я о ней почти ничего не знаю. Ходит скромно, опустив голову, стиснув руки в красных перчатках, крошечными шажками, словно дрессированная свинья на задних ногах. В наши прогулки я не слышала от нее ни единого неортодоксального слова — но и она от меня ничего такого не слышала. Может, она и впрямь правоверная, Служанка до мозга костей. Я не могу рисковать.

— Я слышала, война протекает хорошо, — говорит она.

¹ «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих» (Втор. 28:4).

- Хвала, — отвечаю я.
- Нам ниспослана хорошая погода.
- И я с радостью ее принимаю¹.
- День прошел, и вновь поразили мятежников.

— Хвала. — Я не спрашиваю, откуда она знает. — Кто они были?

— Баптисты. У них была цитадель в Синих холмах. Выкурили их оттуда.

— Хвала.

Порой мне хочется, чтоб она заткнулась наконец и дала мне мирно прогуляться. Но я жажду новостей, любых новостей; даже вранье наверняка что-то значит.

Мы подходим к первой заставе — вроде ограды вокруг дорожных ремонтников или раскопанной канализации: деревянная полосатая крестовина, черно-желтая, красный шестиугольник, означающий «Стоп». У ворот фонари — не горят, потому что не ночь. Я знаю: над нами прожекторы на телефонных столбах, на случай ЧП, а по обочинам люди с автоматами в дотах. Я не вижу прожекторов и дотов, у меня на лице шоры. Я просто знаю, что они там.

Позади заставы подле узких ворот нас ждут двое в зеленой форме Хранителей Веры, с гербами на плечах и беретах: два скрещенных меча над белым треугольником. Хранители — не настоящие солдаты. Их отражают на полицейские задания и прочую ла-

¹ «...А упавшее на камень [семя], это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).

кейскую работу — перекапывать сад Жены Командора, например, — и они глупы, либо стары, либо покалечены, либо слишком молоды, не считая тех, которые тайные Очи.

Эти двое очень молоды: у одного усы еле пробиваются, у другого все лицо в прыщах. Их юность трогательна, но нельзя поддаваться на обман, я знаю. Молодые, как правило, всех опаснее, фанатичнее, дерганее с оружием. Еще не научились жить ползком сквозь время. С ними нужно медленно.

На той неделе где-то здесь застрелили женщину. Марфу. Она шарила в карманах, искала пропуск, а они решили, что она сейчас вынет бомбу. Думали, она переодетый мужчина. Случались такие инциденты.

Рита и Кора ее знали. Я слышала, как они разговаривали в кухне.

Работают, чего уж, сказала Кора. Ради нашей безопасности.

Что уж безопаснее мертвяка, огрызнулась Рита. Она никуда не лезла. Нечего было в нее палить.

Это ж нечаянно вышло, сказала Кора.

Нечаянно не бывает, сказала Рита. Все нарочно. Я слышала, как она грохочет кастрюлями в раковине.

Зато кто-нибудь еще дважды подумает, стоит ли этот дом взрывать, сказала Кора.

Все равно, сказала Рита. Она трудилась как пчелка. Нехорошая смерть.

Бывает и похуже, ответила Кора. Эта хоть быстрая.

На вкус и цвет, сказала Рита. Мне бы лучше точку времени до того. Чтобы все уладить.

Два молодых Хранителя отдают нам честь — три пальца к берету. Нам полагаются эти знаки внимания. Вроде как уважение — такова природа нашей службы.

Мы извлекаем бумаги из карманов на «молниях» в широких рукавах, наши пропуска изучаются и штампуются. Один Хранитель отправляется в дот направо вбить наши номера в Комптроль.

Возвращая мне пропуск, Хранитель — тот, который с персиковыми усами, — склоняется, пытаюсь заглянуть мне в лицо. Я поднимаю голову, помогаю ему, и он видит мои глаза, а я его, и он вспыхивает. Длинная скорбная физиономия, будто овечья, но с большими собачьими глазами — спаниеля, не терьера. Кожа бледная, на вид нездорово нежная, будто под струпьями. И все равно я думаю, как прикоснулась бы ладонью к нему, к этому оголенному лицу. Первым отворачивается он.

Это событие, крохотное слушание, такое крохотное, что неразлично, но подобные мгновения — моя награда, я храню их, будто конфеты, что копила в детстве в глубине ящика стола. Каждое мгновение — шанс, малюсенький глазок.

А если б я пришла ночью, когда он один на дежурстве, — хотя никто не позволит такого одиночества, — и допустила бы его за белые свои крылышки? Если б содрала с себя красный саван, показалась ему — им — в неверном свете фонарей? Вот, наверное, о чем они думают порой, непрерывно торча на заставе, где никто не появляется, лишь Командоры Праведников в черных шелестящих авто или их голубые Жены и дочери под белыми вуалями, что послушно устремились на Избавление или Молитвонаду, или их унылые зеленые Марфы, или изредка Ро-

домобиль, или их красные Служанки пешком. А иногда черный фургон с белым крылатым глазом на боку. Окна фургонов затемнены, а мужчины на передних сиденьях носят черные очки: двойная тьма.

Фурунны, конечно, беззвучнее других машин. Когда они проезжают, мы отводим глаза. Если изнутри доносится шум, мы стараемся не слышать. Ничье сердце не предано вполне¹.

Пропускной пункт фурунны пролетают без остановки, по единому взмаху руки. Хранители не захотят рисковать — заглядывать внутрь, обыскивать, сомневаться. Что бы они там ни думали.

Если они думают; по их виду не поймешь.

Но скорее всего, они не представляют одежду, что валяется на лужайке. Если они думают: поцелуй, то за ним тут же включается прожектор и щелкают выстрелы. Вместо этого они думают о долге, о повышении до Ангелов, о том, что, может, им позволят жениться, а потом, если они добьются власти и проживут достаточно долго, им назначат собственную Служанку.

Усатый открывает нам калитку для пешеходов и отступает подальше, а мы идем. Мы уходим, и я знаю: они смотрят нам вслед, эти двое, которым пока запрещено прикасаться к женщине. Они касаются глазами, и я чуть повожу бедрами, и колышется широкая красная юбка. Будто показывать нос из-за забора или соблазнять пса костью, до которой ему не дотянуться, и мне стыдно, потому что они ни в чем не виноваты, они слишком молоды.

¹ «Ибо очи Господа обзревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).